



ГЛАВА ПЕРВАЯ

I

Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без того. Одно знаю наверно: никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до ста лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, то есть не для похвал читателя. Если я вдруг вздумал записать слово в слово все, что случилось со мной с прошлого года, то вздумал это вследствие внутренней потребности: до того я поражен всем совершившимся. Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное — от литературных красот; литератор пишет тридцать лет и в конце совсем не знает, для чего он писал столько лет. Я — не литератор, литератором быть не хочу и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью. С досадой, однако, предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись совершенно без описания чувств и без размышлений (может быть, даже пошлых): до того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринимаемое единственно для себя. Размышления же могут быть даже очень пошлы, потому что то, что сам ценишь, очень возможно, не имеет никакой цены на посторонний взгляд. Но все это в сторону.

Однако вот и предисловие; более, в этом роде, ничего не будет. К делу; хотя ничего нет мудренее, как приступить к какому-нибудь делу, — может быть, даже и ко всякому делу.

II

Я начинаю, то есть я хотел бы начать, мои записки с девятнадцатого сентября прошлого года, то есть ровно с того дня, когда я в первый раз встретил...

Но объяснить, кого я встретил, так, заранее, когда никто ничего не знает, будет пошло; даже, я думаю, и тон этот пошл: дав себе слово уклоняться от литературных красот, я с первой строки впадаю в эти красоты. Кроме того, чтобы писать толково, кажется, мало одного желания. Замечу тоже, что, кажется, ни на одном европейском языке не пишется так трудно, как на русском. Я перечел теперь то, что сейчас написал, и вижу, что я гораздо умнее написанного. Как это так выходит, что у человека умного высказанное им гораздо глупее того, что в нем остается? Я это не раз замечал за собой и в моих словесных отношениях с людьми за весь этот последний роковой год и много мучился этим.

Я хоть и начну с девятнадцатого сентября, а все-таки вставлю слова два о том, кто я, где был до того, а стало быть, и что могло быть у меня в голове хоть отчасти в то утро девятнадцатого сентября, чтоб было понятнее читателю, а может быть, и мне самому.

III

Я — кончивший курс гимназист, а теперь мне уже двадцать первый год. Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой — Макар Иванов Долгорукий, бывший дворовый господин Версиловых. Таким образом, я — законнорожденный,

хотя я, в высшей степени, незаконный сын, и происхождение мое не подвержено ни малейшему сомнению. Дело произошло таким образом: двадцать два года назад помещик Версилов (это-то и есть мой отец), двадцати пяти лет, посетил свое имение в Тульской губернии. Я предполагаю, что в это время он был еще чем-то весьма безличным. Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою все мое будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенною загадкой. Но, собственно, об этом после. Этого так не расскажешь. Этим человеком и без того будет наполнена вся тетрадь моя.

Он как раз к тому времени овдовел, то есть к двадцати пяти годам своей жизни. Женат же был на одной из высшего света, но не так богатой, Фанариотовой, и имел от нее сына и дочь. Сведения об этой, столь рано его оставившей, супруге довольно у меня неполны и теряются в моих материалах; да и много из частных обстоятельств жизни Версилова от меня ускользнуло, до того он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря, минутами, на поражающее как бы смирение его передо мною. Упоминая, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупные, всего тысяч на четыреста с лишком и, пожалуй, более. Теперь у него, разумеется, ни копейки...

Приехал он тогда в деревню «бог знает зачем», по крайней мере сам мне так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нем, по обыкновению, а у родственников; так он всю жизнь поступал с своими детьми, с законными и незаконными. Дворовых в этом имении было значительно много; между ними был и садовник Макар Иванов Долгорукий. Вставлю здесь, чтобы раз навсегда отвязаться: редко кто мог столько вылиться на свою фамилию, как я, в продолжение всей моей жизни. Это было,

конечно, глупо, но это было. Каждый-то раз, как я вступал куда-либо в школу или встречался с лицами, которым, по возрасту моему, был обязан отчетом, одним словом, каждый-то училишка, гувернер, инспектор, поп — все кто угодно, спрося мою фамилию и услышав, что я Долгорукий, непременно находили для чего-то нужным прибавить:

— Князь Долгорукий?

И каждый-то раз я обязан был всем этим праздным людям объяснять:

— Нет, *просто* Долгорукий.

Это *просто* стало сводить меня наконец с ума. Замечу при сем, в виде феномена, что я не помню ни одного исключения: все спрашивали. Иным, по-видимому, это совершенно было не нужно; да и не знаю, к какому бы черту это могло быть хоть кому-нибудь нужно? Но все спрашивали, все до единого. Услышав, что я *просто* Долгорукий, спрашивавший обыкновенно обмеривал меня тупым и глупо-равнодушным взглядом, свидетельствовавшим, что он сам не знает, зачем спросил, и отходил прочь. Товарищи-школьники спрашивали всех оскорбительнее. Школьник как спрашивает новичка? Затерявшийся и конфузящийся новичок, в первый день поступления в школу (в какую бы то ни было), есть общая жертва: ему приказывают, его дразнят, с ним обращаются как с лакеем. Здоровый и жирный мальчишка вдруг останавливается перед своей жертвой, в упор и долгим, строгим и надменным взглядом наблюдает ее несколько мгновений. Новичок стоит перед ним молча, косится, если не трус, и ждет, что-то будет.

— Как твоя фамилия?

— Долгорукий.

— Князь Долгорукий?

— Нет, просто Долгорукий.

— А, просто! Дурак.

И он прав: ничего нет глупее, как называться Долгоруким, не будучи князем. Эту глупость я таскаю на себе без

вины. Впоследствии, когда я стал уже очень сердиться, то на вопрос: ты князь? всегда отвечал:

— Нет, я — сын дворового человека, бывшего крепостного.

Потом, когда уж я в последней степени озлился, то на вопрос: вы князь? твердо раз ответил:

— Нет, просто Долгорукий, незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова.

Я выдумал это уже в шестом классе гимназии, и хоть вскорости несомненно убедился, что глуп, но все-таки не сейчас перестал глупить. Помню, что один из учителей — впрочем, он один и был — нашел, что я «полон мстительной и гражданской идеи». Вообще же приняли эту выходку с какою-то обидною для меня задумчивостью. Наконец, один из товарищей, очень едкий малый и с которым я всего только в год раз разговаривал, с серьезным видом, но несколько смотря в сторону, сказал мне:

— Такие чувства вам, конечно, делают честь, и, без сомнения, вам есть чем гордиться; но я бы на вашем месте все-таки не очень праздновал, что незаконнорожденный... а вы точно именинник!

С тех пор я перестал *хвалиться*, что незаконнорожденный.

Повторю, очень трудно писать по-русски: я вот испытал целых три страницы о том, как я злился всю жизнь за фамилию, а между тем читатель наверно уже вывел, что злюсь-то я именно за то, что я не князь, а просто Долгорукий. Объясняться еще раз и оправдываться было бы для меня унижительно.

IV

Итак, в числе этой дворни, которой было множество и кроме Макара Иванова, была одна девица, и была уже лет восемнадцати, когда пятидесятилетний Макар

Долгорукий вдруг обнаружил намерение на ней жениться. Браки дворовых, как известно, происходили во времена крепостного права с дозволения господ, а иногда и прямо по распоряжению их. При имении находилась тогда тетушка; то есть она мне не тетушка, а сама помещица; но, не знаю почему, все всю жизнь ее звали тетушкой, не только моей, но и вообще, равно как и в семействе Версилова, которому она чуть ли и в самом деле не сродни. Это — Татьяна Павловна Пруткова. Тогда у ней еще было в той же губернии и в том же уезде тридцать пять своих душ. Она не то что управляла, но по соседству надзирала над имением Версилова (в пятьсот душ), и этот надзор, как я слышал, стоил надзора какого-нибудь управляющего из ученых. Впрочем, до знаний ее мне решительно нет дела; я только хочу прибавить, откинув всякую мысль лести и заискивания, что эта Татьяна Павловна — существо благородное и даже оригинальное.

Вот она-то не только не отклонила супружеские наклонности мрачного Макара Долгорукого (говорили, что он был тогда мрачен), но, напротив, для чего-то в высшей степени их поощрила. Софья Андреева (эта восемнадцатилетняя дворовая, то есть мать моя) была круглою сиротою уже несколько лет; покойный же отец ее, чрезвычайно уважавший Макара Долгорукого и ему чем-то обязанный, тоже дворовый, шесть лет перед тем, помирая, на одре смерти, говорят даже, за четверть часа до последнего издыхания, так что за нужду можно бы было принять и за бред, если бы он и без того не был неспособен, как крепостной, подозвав Макара Долгорукого, при всей дворне и при присутствовавшем священнике, завещал ему вслух и настоятельно, указывая на дочь: «Взрасти и возьми за себя». Это все слышали. Что же до Макара Иванова, то не знаю, в каком смысле он потом женился, то есть с большим ли удовольствием или только исполняя обязанность. Вероятнее, что имел вид полного равнодушия. Это был

человек, который и тогда уже умел «показать себя». Он не то чтобы был начетчик или грамотей (хотя знал церковную службу всю и особенно житие некоторых святых, но более понаслышке), не то чтобы был вроде, так сказать, дворового резонера, он просто был характера упрямого, подчас даже рискованного; говорил с амбицией, судил бесспоротно и, в заключение, «жил почтительно», — по собственному удивительному его выражению, — вот он каков был тогда. Конечно, уважение он приобрел всеобщее, но, говорят, был всем несносен. Другое дело, когда вышел из двора: тут уж его не иначе поминали как какого-нибудь святого и много претерпевшего. Об этом я знаю наверно.

Что же до характера моей матери, то до восемнадцати лет Татьяна Павловна продержала ее при себе, несмотря на настояния приказчика отдать в Москву в ученье, и дала ей некоторое воспитание, то есть научила шить, кроить, ходить с девичьими манерами и даже слегка читать. Писать моя мать никогда не умела сносно. В глазах ее этот брак с Макаром Ивановым был давно уже делом решенным, и все, что тогда с нею произошло, она нашла превосходным и самым лучшим; под венец пошла с самым спокойным видом, какой только можно иметь в таких случаях, так что сама уж Татьяна Павловна назвала ее тогда рыбой. Все это о тогдашнем характере матери я слышал от самой же Татьяны Павловны. Версиков приехал в деревню ровно полгода спустя после этой свадьбы.

V

Я хочу только сказать, что никогда не мог узнать и удовлетворительно догадаться, с чего именно началось у него с моей матерью. Я вполне готов верить, как уверял он меня прошлого года сам, с краской в лице, несмотря на то, что рассказывал про все это с самым непринужденным

и «остроумным» видом, что романа никакого не было вовсе и что все вышло *так*. Верю, что так, и русское слово это: *так* — прелестно; но все-таки мне всегда хотелось узнать, с чего именно у них могло произойти. Сам я ненавидел и ненавижу все эти мерзости всю мою жизнь. Конечно, тут вовсе не одно только бесстыжее любопытство с моей стороны. Замечу, что мою мать я, вплоть до прошлого года, почти не знал вовсе; с детства меня отдали в люди, для комфорта Версилова, об чем, впрочем, после; а потому я никак не могу представить себе, какое у нее могло быть в то время лицо. Если она вовсе не была так хороша собой, то чем мог в ней прельститься такой человек, как тогдашний Версильов? Вопрос этот важен для меня тем, что в нем чрезвычайно любопытную стороною рисуется этот человек. Вот для чего я спрашиваю, а не из разврата. Он сам, этот мрачный и закрытый человек, с тем милым простодушием, которое он черт знает откуда брал (точно из кармана), когда видел, что это необходимо, — он сам говорил мне, что тогда он был весьма «глупым молодым щенком» и не то что сентиментальным, а *так*, только что прочел «Антонa Горемыку» и «Полиньку Сакс» — две литературные вещи, имевшие необъятное цивилизующее влияние на тогдашнее подрастающее поколение наше. Он прибавлял, что из-за «Антонa Горемыки», может, и в деревню тогда приехал, — и прибавлял чрезвычайно серьезно. В какой же форме мог начать этот «глупый щенок» с моей матерью? Я сейчас вообразил, что если б у меня был хоть один читатель, то наверно бы расхохотался надо мной, как над смешнейшим подростком, который, сохранив свою глупую невинность, суется рассуждать и решать, в чем не смыслит. Да, действительно, я еще не смыслю, хотя сознаюсь в этом вовсе не из гордости, потому что знаю, до какой степени глупа в двадцатилетнем верзиле такая неопытность; только я скажу этому господину, что он сам не смыслит, и докажу ему это. Правда, в женщинах

я ничего не знаю, да и знать не хочу, потому что всю жизнь буду плевать и дал слово. Но я знаю, однако же, наверно, что иная женщина обольщает красотой своей, или там чем знает, в тот же миг; другую же надо полгода разжевывать, прежде чем понять, что в ней есть; и чтобы рассмотреть такую и влюбиться, то мало смотреть и мало быть просто готовым на что угодно, а надо быть, сверх того, чем-то еще одаренным. В этом я убежден, несмотря на то что ничего не знаю, и если бы было противное, то надо бы было разом низвести всех женщин на степень простых домашних животных и в таком только виде держать их при себе; может быть, этого очень многим хотелось бы.

Я знаю из нескольких рук положительно, что мать моя красавицей не была, хотя тогдашнего портрета ее, который где-то есть, я не видал. С первого взгляда в нее влюбиться, стало быть, нельзя было. Для простого «развлечения» Версилов мог выбрать другую, и такая там была, да еще незамужняя, Анфиса Константиновна Сапожкова, сенная девушка. А человеку, который приехал с «Антоном Горемыкой», разрушать, на основании помещичьего права, святость брака, хотя и своего дворового, было бы очень зазорно перед самим собою, потому что, повторяю, про этого «Антон Горемыку» он еще не далее как несколько месяцев тому назад, то есть двадцать лет спустя, говорил чрезвычайно серьезно. Так ведь у Антона только лошадь увели, а тут жену! Произошло, значит, что-то особенное, отчего и проиграла mademoiselle Сапожкова (по-моему, выиграла). Я приставал к нему раз-другой прошлого года, когда можно было с ним разговаривать (потому что не всегда можно было с ним разговаривать), со всеми этими вопросами и заметил, что он, несмотря на всю свою светскость и двадцатилетнее расстояние, как-то чрезвычайно кривился. Но я настоял. По крайней мере с тем видом светской брезгливости, которую он неоднократно себе позволял со мною, он, я помню, однажды проямлил

как-то странно: что мать моя была одна такая особа из *незащищенных*, которую не то что полюбишь, — напротив, вовсе нет, — а как-то вдруг почему-то *пожалеешь*, за кротость, что ли, впрочем, за что? — это всегда никому не известно, но пожалеешь надолго; пожалеешь и привяжешься... «Одним словом, мой милый, иногда бывает так, что и не отвязешься». Вот что он сказал мне; и если это действительно было так, то я принужден почесть его вовсе не таким тогдашним глупым щенком, каким он сам себя для того времени аттестует. Это-то мне и надо было.

Впрочем, он тогда же стал уверять, что мать моя любила его по «приниженности»: еще бы выдумал, что по крепостному праву! Соврал для шику, соврал против совести, против чести и благородства!

Все это, конечно, я наговорил в какую-то как бы похвалу моей матери, а между тем уже заявил, что о ней, тогдашней, не знал вовсе. Мало того, я именно знаю всю непроезжимость той среды и тех жалких понятий, в которых она зачерствела с детства и в которых осталась потом на всю жизнь. Тем не менее беда совершилась. Кстати, надо поправиться: улетев в облака, я забыл об факте, который, напротив, надо бы выставить прежде всего, а именно: началось у них прямо с *беды*. (Я надеюсь, что читатель не до такой степени будет ломаться, чтоб не понять сразу, об чем я хочу сказать.) Одним словом, началось у них именно по-помещичьи, несмотря на то что была обойдена mademoiselle Сапожкова. Но тут уже я вступлюсь и зараннее объявляю, что вовсе себе не противоречу. Ибо об чем, о господи, об чем мог говорить в то время такой человек, как Версилов, с такою особою, как моя мать, даже и в случае самой неотразимой любви? Я слышал от развратных людей, что весьма часто мужчина, с женщиной сходясь, начинает совершенно молча, что, конечно, верх чудовищности и тошноты; тем не менее Версилов, если б и хотел, то не мог бы, кажется, иначе начать с моею матерью. Неужели

же начать было объяснять ей «Полиньку Сакс»? Да и сверх того, им было вовсе не до русской литературы; напротив, по его же словам (он как-то раз расходился), они прятались по углам, поджидали друг друга на лестницах, отскакивали как мячики, с красными лицами, если кто проходил, и «тиран помещик» трепетал последней полумойки, несмотря на все свое крепостное право. Но хоть и по-помещичьи началось, а вышло так, да не так, и, в сущности, все-таки ничего объяснить нельзя. Даже мраку больше. Уж одни размеры, в которые развилась их любовь, составляют загадку, потому что первое условие таких, как Версиров, — это тотчас же бросить, если достигнута цель. Не то, однако же, вышло. Согрешить с миловидной дворовой вертушкой (а моя мать не была вертушкой) развратному «молодому щенку» (а они были все развратны, все до единого — и прогрессисты и ретрограды) — не только возможно, но и неминуемо, особенно взяв романическое его положение молодого вдовца и его бездельничанье. Но полюбить на всю жизнь — это слишком. Не ручаюсь, что он любил ее, но что он таскал ее за собою всю жизнь — это верно.

Вопросов я наставил много, но есть один самый важный, который, замечу, я не осмелился прямо задать моей матери, несмотря на то что так близко сошелся с нею прошлого года и, сверх того, как грубый и неблагодарный щенок, считающий, что *перед ним виноваты*, не церемонился с нею вовсе. Вопрос следующий: как она-то могла, она сама, уже бывшая полгода в браке, да еще придавленная всеми понятиями о законности брака, придавленная, как бессильная муха, она, уважавшая своего Макара Ивановича не меньше чем какого-то Бога, как она-то могла, в какие-нибудь две недели, дойти до такого греха? Ведь не развратная же женщина была моя мать? Напротив, скажу теперь вперед, что быть более чистой душой, и так потом во всю жизнь, даже трудно себе и представить. Объяснить разве можно тем, что сделала она не помня себя, то есть

не в том смысле, как уверяют теперь адвокаты про своих убийц и воров, а под тем сильным впечатлением, которое, при известном простодушии жертвы, овладевает фатально и трагически. Почем знать, может быть, она полюбила до смерти... фасон его платья, парижский пробор волос, его французский выговор, именно французский, в котором она не понимала ни звука, тот романс, который он спел за фортепьяно, полюбила нечто никогда не виданное и не слыханное (а он был очень красив собою), и уж заодно полюбила, прямо до изнеможения, всего его, с фасонами и романсами. Я слышал, что с дворовыми девушками это иногда случалось во времена крепостного права, да еще с самыми честными. Я это понимаю, и подлец тот, который объяснит это лишь одним только крепостным правом и «приниженностью»! Итак, мог же, стало быть, этот молодой человек иметь в себе столько самой прямой и обольстительной силы, чтобы привлечь такое чистое до тех пор существо и, главное, такое совершенно разнородное с собою существо, совершенно из другого мира и из другой земли, и на такую явную гибель? Что на гибель — это-то и мать моя, надеюсь, понимала всю жизнь; только разве когда шла, то не думала о гибели вовсе; но так всегда у этих «беззащитных»: и знают, что гибель, а лезут.

Согрешив, они тотчас покаялись. Он с остроумием рассказывал мне, что рыдал на плече Макара Ивановича, которого нарочно призвал для сего случая в кабинет, а она — она в то время лежала где-то в забытии, в своей дворовой клетушке...

VI

Но довольно о вопросах и скандальных подробностях. Версилов, выкупив мою мать у Макара Иванова, вскорости уехал и с тех пор, как я уже и прописал выше, стал ее таскать

за собою почти повсюду, кроме тех случаев, когда отлучался подолгу; тогда оставлял большею частью на попечение тетушки, то есть Татьяны Павловны Прутковой, которая всегда откуда-то в таких случаях подвертывалась. Живали они и в Москве, живали по разным другим деревням и городам, даже за границей и, наконец, в Петербурге. Обо всем этом после или не стоит. Скажу лишь, что год спустя после Макара Ивановича явился на свете я, затем еще через год моя сестра, а затем уже лет десять или одиннадцать спустя — болезненный мальчик, младший брат мой, умерший через несколько месяцев. С мучительными родами этого ребенка кончилась красота моей матери, — так по крайней мере мне сказали: она быстро стала стареть и хилеть.

Но с Макаром Ивановичем сношения все-таки никогда не прекращались. Где бы Версиловы ни были, жили ли по несколько лет на месте или переезжали, Макар Иванович непременно уведомлял о себе «семейство». Образовались какие-то странные отношения, отчасти торжественные и почти серьезные. В господском быту к таким отношениям непременно примешалось бы нечто комическое, я это знаю; но тут этого не вышло. Письма присылались в год по два раза, не более и не менее, и были чрезвычайно одно на другое похожие. Я их видел; в них мало чего-нибудь личного; напротив, по возможности одни только торжественные извещения о самых общих событиях и о самых общих чувствах, если так можно выразиться о чувствах: извещения прежде всего о своем здоровье, потом спросы о здоровье, затем пожелания, торжественные поклоны и благословения — и все. Именно в этой общности и безличности и полагается, кажется, вся порядочность тона и все высшее знание обращения в этой среде. «Достолюбезной и почтенной супруге нашей Софье Андреевне посылаю наш нижайший поклон»... «Любезным деткам нашим посылаю родительское благословение наше вовеки нерушимое». Детки все прописывались поимянно, по мере их накопления,

и я тут же. При этом замечу, что Макар Иванович был настолько остроумен, что никогда не прописывал «его высокородия достопочтеннейшего господина Андрея Петровича» своим «благодетелем», хотя и прописывал неуклонно в каждом письме свой всенижайший поклон, испрашивая у него милости, а на самого его благословение Божие. Ответы Макару Ивановичу посылались моею матерью вскорости и всегда писались в таком же точно роде. Версилов, разумеется, в переписке не участвовал. Писал Макар Иванович из разных концов России, из городов и монастырей, в которых подолгу иногда проживал. Он стал так называемым странником. Никогда ни о чем не просил; зато раз года в три непременно являлся домой на побывку и останавливался прямо у матери, которая, всегда так приходилось, имела свою квартиру, особую от квартиры Версилова. Об этом мне придется после сказать, но здесь лишь замечу, что Макар Иванович не разваливался в гостиной на диванах, а скромно помещался где-нибудь за перегородкой. Проживал недолго, дней пять, неделю.

Я забыл сказать, что он ужасно любил и уважал свою фамилию «Долгорукий». Разумеется, это — смешная глупость. Всего глупее то, что ему нравилась его фамилия именно потому, что есть князья Долгорукие. Странное понятие, совершенно вверх ногами!

Если я и сказал, что все семейство всегда было в сборе, то кроме меня, разумеется. Я был как выброшенный и чуть не с самого рождения помещен в чужих людях. Но тут не было никакого особенного намерения, а просто как-то так почему-то вышло. Родив меня, мать была еще молода и хороша, а стало быть, нужна ему, а крикун ребенок, разумеется, был всему помехою, особенно в путешествиях. Вот почему и случилось, что до двадцатого года я почти не видал моей матери, кроме двух-трех случаев мельком. Произошло не от чувств матери, а от высокомерия к людям Версилова.

VII

Теперь совсем о другом.

Месяц назад, то есть за месяц до девятнадцатого сентября, я, в Москве, порешил отказаться от них всех и уйти в свою идею уже окончательно. Я так и прописываю это слово: «уйти в свою идею», потому что это выражение может обозначить почти всю мою главную мысль — то самое, для чего я живу на свете. Что это за «своя идея», об этом слишком много будет потом. В уединении мечтательной и многолетней моей московской жизни она создавалась у меня еще с шестого класса гимназии и с тех пор, может быть, ни на миг не оставляла меня. Она поглотила всю мою жизнь. Я и до нее жил в мечтах, жил с самого детства в мечтательном царстве известного оттенка; но с появлением этой главной и всё поглотившей во мне идеи мечты мои скрепились и разом отлились в известную форму: из глупых сделались разумными. Гимназия мечтам не мешала; не помешала и идее. Прибавлю, однако, что я кончил гимназический курс в последнем году плохо, тогда как до седьмого класса всегда был из первых, а случилось это вследствие той же идеи, вследствие вывода, может быть ложного, который я из нее вывел. Таким образом, не гимназия помешала идее, а идея помешала гимназии, помешала и университету. Кончив гимназию, я тотчас же вознамерился не только порвать со всеми радикально, но если надо, то со всем даже миром, несмотря на то что мне был тогда всего только двадцатый год. Я написал кому следует, через кого следует в Петербург, чтобы меня окончательно оставили в покое, денег на содержание мое больше не присылали и, если возможно, чтоб забыли меня вовсе (то есть, разумеется, в случае, если меня сколько-нибудь помнили), и, наконец, что в университет я «ни за что» не поступлю. Дилемма стояла передо мной неотразимая: или университет и дальнейшее образование, или отдалить немедленное